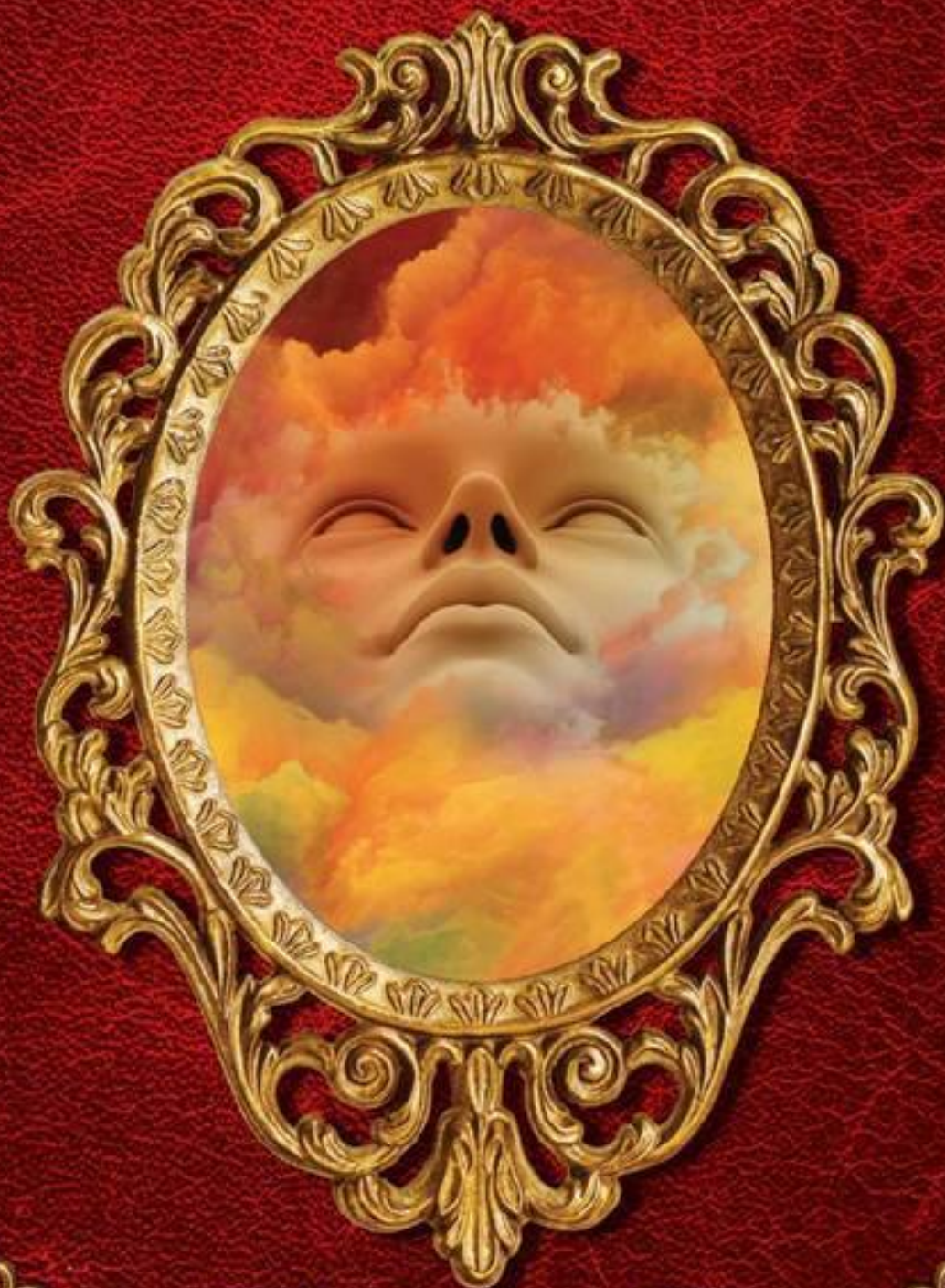


Петр Успенский
**В ПОИСКАХ
ЧУДЕСНОГО**

ЧЕТВЕРТЫЙ ПУТЬ ГЕОРГИЯ ГУРДЖИЕВА



Великие тайны (АСТ)

Петр Успенский

**В поисках чудесного. Четвертый
путь Георгия Гурджиева**

«Издательство АСТ»

УДК 141.399
ББК 86.42

Успенский П. Д.

В поисках чудесного. Четвертый путь Георгия Гурджиева /
П. Д. Успенский — «Издательство АСТ», — (Великие тайны
(АСТ))

ISBN 978-5-17-101352-3

Русский философ, писатель и мистик, исследователь человеческих возможностей, Петр Успенский был свидетелем становления школы знаменитого мистика, человека-легенды, одной из самых загадочных фигур начала двадцатого века. Какие знания хотел донести до своих учеников этот загадочный «учитель танцев», как он сам себя называл? Что на самом деле происходило с его учениками и почему вокруг Гурджиева формировались сообщества из самых заметных людей того времени? Что именно заставляло людей безоглядно подчиняться этому загадочному человеку? Тайны и возможности человеческой природы, скрытые в каждом человеке, которые демонстрировал этот человек, поражали воображение. На пороге чудовищных потрясений, которые принес людям двадцатый век, возрождалось новое понимание мира и человека в нем.

УДК 141.399

ББК 86.42

ISBN 978-5-17-101352-3

© Успенский П. Д.
© Издательство АСТ

Содержание

Предисловие	6
Глава 1	8
Глава 2	27
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Петр Демьянович Успенский
В поисках чудесного. Четвертый
путь Георгия Гурджиева

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Предисловие

Наступил век,ломавший привычный мир.

Век больших машин, паровозов, пароходов, автомобилей и аэропланов... цивилизация сделала огромный скачок, и люди оказались в окружении машин и механизмов.

Откуда взялся этот загадочный человек, этот Георгий Гурджиев, имя которого произносили шёпотом, учениками или слушателями которого были практически ВСЕ известные фигуры того времени, включая Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера, Сергея Есенина, Маяковского, Блока и многих других?

В чем тайна этого человека, который называл себя «просто учителем танцев»? Обладал ли он, на самом деле, каким-то тайным знанием или он был просто харизматичным шарлатаном?

Дал ли какое-то тайное знание этим людям?

Может, он правильно рассчитал, что именно сейчас всего люди хотят новых знаний о своей природе, ведь именно в то время тысячи открытий, изобретений, новых теорий стремительно меняли жизнь. Захватывало дух от гордости за человечество, от грандиозности *возможностей. И от страха за будущее.*

Новые возможности дают преимущество тому, кто применит их первым. И это соревнование не может закончиться мирно.

Удобство и комфорт имели свою цену: машины не только сделали жизнь легче, но и убивали эффективнее.

Уже грохотала смертоносная машина Первой мировой войны, но в России никто не мог представить, что совсем скоро все перемешается там, где, казалось, все было комфортно, привычно и спокойно. Хотя спокойно – вряд ли. Было тревожно и суетно.

Однако мысль о том, что все рухнет, казалась настолько фантастичной, что самые мрачные скептики не слышали голоса ревущей катастрофы. Именно в это время кто-то активно действовал, какие-то силы производили свою работу, какие-то люди жертвовали собой во имя того, чтобы другие деятельные люди подготовили себе место в этом новом мире.

Ситуация казалась нереальной, временной, и эта иллюзия погубила многих.

Именно в это время среди людей возникает мучительный, страстный интерес к возможностям самого человека как к резервным, как к факторам выживания в этом мире. Теософские и эзотерические общества, попытки расширить область знаний о человеческой природе и природе мира, ибо это кажется существенным фактором выживания, – все это приобрело грандиозные размеры.

Чем же отличался от других гуру этот странный Гурджиев?

Он был другим. Он сравнил человека с машиной, которой нужно научиться управлять. Он говорил: человек – это машина, он живет во сне: посмотрите, это на самом деле так. Только разобравшись в свойствах этой машины, можно получить огромные преимущества, и стать больше, чем машиной.

Законы мироздания сходны с законами гармонии музыки. Можно заставить машину работать правильно – в резонансе с этой гармонией. И тогда можно научиться управлять не только своей жизнью...

Он основал не одну школу или группу учеников, в которых различными способами пытался, какой говорил, пробудить человека. Он делал это не только читая лекции или давая уроки динамической медитации. Гурджиев обладал, несомненно, способностями, которые однозначно можно назвать сверхнормальными.

Его объяснения устройства мира могут показаться странными, но удивительно созвучны самым современным теориям в физике и астрономии.

Он изучал своих учеников и оттачивал на них свой метод преподавания.

Многие даже не верят, что он погиб, по официальной версии, в автокатастрофе. Некоторые предполагают, что он и сейчас преподает. Что и кому?

Он был всегда на виду и всегда один. О нем, в сущности, никто ничего не знал.

Глава 1

Возвращение из Индии. – Война и «поиски чудесного». – Старые мысли. – Вопрос о школах. – Планы дальнейших путешествий. – Восток и Европа. – Заметка в московской газете. – Лекции об Индии. – Встреча с Гурджиевым. – «Переодетый». – Первая беседа. – Мнение Гурджиева о школах. – Группа Гурджиева. – «Проблески истины». – Дальнейшие встречи и беседы. – Организация московской группы Гурджиева. – Вопрос о плате и средствах для работы. – Вопрос о тайне; обязательства, принимаемые учениками. – Беседа о Востоке. – «Философия», «теория» и «практика». – Как была найдена эта система? – Идеи Гурджиева. – «Человек – это машина», управляемая внешними влияниями. – «Всё случается». – Никто ничего не «делает». – Чтобы «делать», необходимо «быть». – Человек отвечает за свои поступки, а машина – нет. – Нужна ли психология для изучения машины? – Обещание «фактов». – Можно ли прекратить войны? – Беседа: планеты и Луна как живые существа. – «Разум» Солнца и Земли. – «Субъективное» и «объективное» искусство.

Я возвратился в Россию после довольно длительного путешествия по Египту, Цейлону и Индии. Это произошло в ноябре 1914 года, т. е. в начале Первой мировой войны, которая застала меня в Коломбо. Я вернулся оттуда через Англию.

Покидая Петербург в начале путешествия, я сказал, что отправляюсь «искать чудесное». Очень трудно установить, что такое «чудесное», но для меня это слово имело вполне определённый смысл. Уже давно я пришёл к заключению, что из того лабиринта противоречий, в котором мы живем, нет иного выхода, кроме совершенно нового пути, не похожего ни на один из тех, которые были нам известны и которыми мы пользовались.

Но где начинался этот новый или забытый путь – этого я не мог сказать. Тогда мне уже был известен тот несомненный факт, что за тонкой оболочкой ложной реальности существует иная реальность, от которой в силу каких-то причин нас нечто отделяет. «Чудесное» и есть проникновение в эту неведомую реальность. Мне казалось, что путь к неизведанному можно найти на Востоке. Почему именно на Востоке? На это трудно ответить. Пожалуй, в этой идее было что-то от романтики; а возможно, тут имело место убеждение, что в Европе, во всяком случае, найти что-либо невозможно.

На обратном пути, в течение тех нескольких недель, что я провёл в Лондоне, все мои мысли о результатах исканий пришли в полный беспорядок под воздействием безумной нелепости войны и связанных с нею эмоций, которые наполняли атмосферу, разговоры и газеты и против моей воли часто захватывали и меня.

Но когда я вернулся в Россию и вновь пережил те мысли, с которыми её покидал, я почувствовал, что мои искания и всё, что с ними связано, более важны, чем любые вещи, которые происходят и могут произойти в мире «очевидных нелепостей». Я сказал себе, что на войну следует смотреть как на одно из тех катастрофических условий жизни, среди которых приходится жить, трудиться и искать ответа на свои вопросы и сомнения. Эта война, великая европейская война, в возможность которой я не хотел верить и реальности которой долго не желал допускать, стала фактом. Мы оказались погруженными в войну, и я видел, что её необходимо считать великим *memento mori*, показывающим, что надо торопиться, что нельзя верить в «жизнь», ведущую в ничто.

Кстати, о выражении «очевидные нелепости». Оно относится к книжке, которая была у меня в детстве. Книжка так и называлась – «Очевидные нелепости», принадлежала к ступин-

ской «библиотечке» и состояла из таких, например, картинок, как изображения человека с домом на спине, кареты с квадратными колёсами и тому подобное. В то время книжка произвела на меня очень сильное впечатление – в ней оказалось много картинок, о которых я так и не мог понять, что в них нелепого.

Они выглядели в точности так, как и обычные вещи. И позднее я стал думать, что книга на самом деле давала картинки из подлинной жизни, потому что по мере взросления я всё больше убеждался, что вся жизнь состоит из «очевидных нелепостей», а последующие мои переживания только укрепили это убеждение.

Война не могла затронуть меня лично, по крайней мере, до окончательной катастрофы, которая, как мне казалось, неизбежно разразится в России, а может быть, и во всей Европе; но ближайшее будущее её пока не сулило. Хотя, разумеется, в то время эта приближающаяся катастрофа выглядела лишь временной, и никто не мог представить всего того внутреннего и внешнего разложения и разрушения, которое нам придётся пережить.

Подводя итоги всем своим впечатлениям о Востоке и в особенности об Индии, мне пришлось признать, что по возвращении моя проблема оказалась ещё более трудной и сложной, чем к моменту отъезда. Индия и Восток не только не потеряли для меня своего очарования как страны «чудесного», но, наоборот, это очарование приобрело новые оттенки, которые раньше не были заметны.

Я ясно видел, что там можно обрести нечто, давно исчезнувшее в Европе, и считал, что принятое мною направление было правильным. Но в то же время я убедился, что тайна сокрыта лучшей глубже, нежели я мог до тех пор предположить.

Отправляясь в путь, я знал, что еду искать *школу или школы*. Уже давно пришёл я к убеждению о необходимости школы. Я понял, что личные, индивидуальные усилия недостаточны, что необходимо войти в соприкосновение с реальной и живой мыслью, которая должна где-то существовать, но с которой мы утратили связь.

Это я понимал; но сама идея школ за время моих путешествий сильно изменилась и в одном отношении стала проще и конкретнее, а в другом – холоднее и отдалённое. Я хочу сказать, что для меня школы во многом утратили свой чудесный характер.

К моменту отъезда я всё ещё допускал по отношению к школам многие фантастические возможности. «Допускал» – сказано, пожалуй, слишком сильно. Лучше сказать, что я мечтал и возможности сверхфизической связи со школами, так сказать, на «другом плане». Я не мог выразить этого ясно, но мне казалось, что даже первое соприкосновение со школой могло бы иметь чудесную природу. Например, я воображал, что можно установить контакт со школами далёкого прошлого, со школами Пифагора. Египта, строителей Нотр-Дама и так далее. Мне казалось, что при таком соприкосновении преграды времени и пространства должны исчезнуть. Сама по себе идея школ была фантастической, и ничто, относящееся к ней, не представлялось мне чересчур фантастичным. Я не видел противоречия между этими идеями и моими попытками найти школы в Индии. Мне казалось, что как раз в Индии можно установить некий контакт, который впоследствии сделается постоянным и независимым от внешних препятствий.

Во время обратного путешествия, после целой серии встреч и впечатлений, идея школы стала для меня более осязаемой и реальной, утратив свой фантастический характер. Вероятно, это произошло потому, что, как я понял, «школа» требует не только поиска, но и «отбора» или выбора – я имею в виду выбор с нашей стороны.

Я не сомневался в том, что школы существуют, но в то же время пришёл к убеждению, что школы, о которых я слышал и с которыми сумел войти в соприкосновение, были не для меня. Эти школы откровенно религиозного или полурелигиозного характера являлись определённо конфессиональными по своему тону. Меня эти школы не привлекали главным образом из-за того, что если бы я искал религиозный путь, я мог бы найти его в России. Другие

школы были слегка сентиментального морально-религиозного типа с налётом аскетизма, как, например, школы учеников или последователей Рамакришны. С этими школами были, связаны прекрасные люди: но я чувствовал, что они не обладают истинным знанием. Так называемые «школы йоги» основывались на обретении состояния транса; на мой взгляд, они приближались по своей природе к «спиритизму», и я не мог им доверять: все их достижения были или самообманом, или тем, что «православные мистики (я имею в виду русскую монашескую литературу) называют «прелестью» или «искушением».

Существовал ещё один тип школ, с которыми я не смог установить контакт, но о которых слышал. Эти школы обещали очень многое, однако и очень многого требовали. *Они требовали всего сразу.* Мне пришлось бы остаться в Индии и отбросить мысли о возвращении в Европу, отказаться от собственных идей и планов, идти по дороге, о которой я не мог ничего узнать заранее. Эти школы меня весьма интересовали, а люди, которые соприкасались с ними и рассказывали мне о них, явно отличались от людей обычного типа. Но всё-таки мне казалось, что должны существовать школы более рационального вида, что человек имеет право – хотя бы до определённого пункта – знать, куда он идёт.

Одновременно с этим я пришёл к заключению, что какое бы название ни носила школа – оккультная, эзотерическая или школа йоги, – она должна находиться на обычном физическом плане, как и всякая иная школа, будь то школа живописи, танцев или медицины. Я понял, что мысль о школах на «ином плане» есть просто признак слабости, свидетельство того, что место подлинных исканий заняли мечты. И я понял тогда, что такие мечты – одно из главных препятствий на нашем пути к чудесному.

По дороге в Индию я строил планы дальнейших путешествий. На сей раз я хотел начать с мусульманского Востока, главным образом с русской Средней Азии и Персии. Но ничему этому не суждено было совершиться.

Из Лондона через Норвегию, Швецию и Финляндию я прибыл в Петербург, уже переименованный в Петроград и полный спекуляции и патриотизма. Вскоре я уехал в Москву и качал редакторскую работу в газете, для которой писал статьи из Индии. Я пробыл там около полутора месяцев, и к этому времени относится небольшой эпизод, связанный со многим, что произошло впоследствии.

Однажды, подготавливая в редакции очередной номер, я обнаружил заметку (кажется, в «Голосе Москвы»), где упоминалось о сценарии балета «Борьба магов», который, как утверждала газета, принадлежал некоему «индийцу». Действие балета должно происходить в Индии и дать полную картину восточной магии, включая чудеса факиров, священные пляски и тому подобное. Мне не понравился излишне самоуверенный тон заметки, но, поскольку индийские авторы балетных сценариев были для Москвы редкостью, я вырезал её и поместил в своей газете, дополнив словами, что в балете будет всё, чего нельзя найти в настоящей Индии, но что путешественники жаждут там увидеть.

Вскоре после этого, в силу различных обстоятельств, я оставил работу в газете и уехал в Петербург.

Там, в феврале и марте 1915 года, я прочел публичные лекции о своих путешествиях по Индии под названием «В поисках чудесного» и «Проблема смерти». Лекции должны были послужить введением в книгу, которую я собирался написать о своих путешествиях, я говорил в них, что в Индии «чудесное» ищут не там, где нужно, что все обычные пути здесь бесполезны, что Индия охраняет свои сокровища гораздо лучше, чем мы это предполагаем. Однако «чудесное» там действительно существует, на что указывают многие вещи, мимо которых люди проходят, не понимая их скрытого смысла, не зная, как к ним подойти. Здесь я опять-таки имел в виду «школы».

Несмотря на войну, мои лекции вызвали значительный интерес. На каждой из них в Александровском зале Петербургской городской думы собиралось более тысячи человек. Я

получил много писем, со мной приходили повидаться люди, и я почувствовал, что на основе «поисков чудесного» можно объединить немало людей, не способных более разделять общепринятые формы лжи и жить во лжи.

После Пасхи я отправился в Москву, чтобы и там прочесть свои лекции. Среди людей, которых я встретил на чтениях, оказалось двое, музыкант и скульптор, которые вскоре сообщили мне, что в Москве есть группа, где занимаются различными «окультурными» исследованиями и экспериментами под руководством некоего Гурджиева, кавказского грека; как я понял, это был тот самый «индиец», что написал сценарий балета, упоминавшийся в газете, которая попала мне в руки три-четыре месяца назад. Должен признаться, что все рассказы этих двух людей о группе и о том, что там происходит, – все виды самовнушенных чудес, – меня почти не заинтересовали. Такие рассказы я уже слышал много раз, так что по отношению к ним у меня сформировалось вполне определённое мнение.

Так, какие-то женщины видят вдруг в комнате чьи-то «глаза», которые парят в воздухе и очаровывают их, женщины следуют за ними с улицы на улицу, пока наконец не приходят к дому «восточного человека», которому и принадлежат глаза. Или другие люди в присутствии этого же «восточного человека» внезапно ощущают, что он смотрит сквозь них, видит все их чувства, мысли и желания; они испытывают необычное ощущение в ногах и не способны двигаться, а затем подпадают под его влияние до такой степени, что он может заставить их делать всё, что захочет, даже на расстоянии. Эти и многие другие подобные истории всегда казались мне просто скверными выдумками. Люди сочиняют себе на потребу чудеса – ив точности такие же, каких ожидают сами. Это какая-то смесь суеверий, самовнушения и недоразвитого мышления; согласно моим наблюдениям, такие истории никогда не возникают без определённого содействия со стороны лиц, к которым они относятся.

Так что, имея в виду свой прошлый опыт, я согласился встретиться и поговорить с Гурджиевым лишь после настойчивых усилий некоего М., одного из моих новых знакомых.

Первая встреча с Гурджиевым совершенно перевернула моё мнение о нём и о том, чего я мог бы от него ожидать.

Прекрасно помню эту встречу. Мы вошли в небольшое кафе на шумной, хотя и не центральной улице. Я увидел человека восточного типа, уже немолодого, с чёрными усами и пронзительными глазами: более всего он удивил меня тем, что производил впечатление переодетого человека, совершенно не соответствующего этому месту и его атмосфере. Я всё ещё был полон впечатлений Востока; и этот человек с лицом индийского раджи или арабского шейха, которого я сразу же представил себе в белом бурнuse или в тюрбане с золотым шитьём, сидел здесь, в этом крохотном кафе, где встречались мелкие дельцы и агенты-комиссионеры. В своём чёрном пальто с бархатным воротником и чёрном котелке, он производил странное, неожиданное и почти пугающее впечатление плохо переодетого человека, вид которого смущает вас, потому что вы понимаете, что он – не тот, за кого себя выдаёт, а между тем вам приходится общаться с ним и вести себя так, как если бы вы этого не замечали. По-русски он говорил неправильно, с сильным кавказским акцентом; и самый этот акцент, с которым мы привыкли связывать всё, что угодно, кроме философских идей, ещё более усиливал необычность и неожиданность впечатления.

Не помню, как началась наша беседа; вероятно, мы заговорили об Индии, эзотеризме и школах йоги. Я понял, что Гурджиев много путешествовал и побывал в таких местах, о которых я только слышал и которые очень хотел бы посмотреть. Мои вопросы ничуть не смутили его, и мне даже показалось, что он вкладывает в свои ответы гораздо больше, чем я готов был услышать. Мне понравилась его манера выражения, тщательная и точная. Скоро М. покинул нас. Гурджиев рассказал мне о своей работе в Москве, но я не вполне его понял. Из того, что он рассказал, явствовало, что в этой работе – в основном психологического характера – большую роль играла *химия*. Слушая его впервые, я, разумеется, понял его слова буквально.

– То, что вы говорите, – сказал я, – напоминает мне об одной школе в южной Индии. Некий брахман, человек во многих отношениях исключительный, как-то сообщил в Траванкоре молодому англичанину о школе, которая изучает химию человеческого тела; вводя в организм или удаляя из него различные вещества, можно изменить моральную и психологическую природу человека. Это очень похоже на то, что вы говорите.

– Возможно, и так, а возможно, и что-то совершенно иное, – ответил Гурджиев. – Существуют школы, которые используют одни и те же методы, но понимают их совершенно по-разному. Сходство методов или идей ещё ничего не доказывает.

– Меня очень интересует и другой вопрос, – продолжал я. – Есть вещества, которые йогины применяют для того, чтобы вызвать особые состояния сознания. Не могут ли в некоторых случаях это быть наркотики? Я сам провёл много опытов в этом направлении, и всё, что я прочел о магии, убедительно мне доказывает, что школы всех времён и народов широко применяли наркотики, создавая такие состояния сознания, которые делают «магию» возможной.

– Да, – сказал Гурджиев, – во многих случаях эти вещества – то, что вы называете «наркотиками». Но применять их можно совершенно по-разному. Имеются школы, которые правильно употребляют наркотики. В этих школах люди используют их для самоизучения, для того, чтобы заглянуть вперёд, чтобы лучше узнать свои возможности, узнать предварительно, «заранее», чего им удастся достичь в будущем, после продолжительной работы. Когда человек видит и убеждается в том, что усвоенное им теоретически существует и в действительности, тогда он работает сознательно; он знает, куда идёт. Иногда это самый легкий способ убедиться в реальном существовании тех возможностей, которые человек лишь подозревает в себе. Этим занимается специальная химия: для каждой функции есть особые вещества, и её можно усилить или ослабить, пробудить или усыпить. Но здесь необходимо большое знание человеческой машины и этой специальной химии. Во всех школах, которые применяют подобный метод, эксперименты производятся только тогда, когда они действительно необходимы, и только под руководством опытных и знающих людей, способных предвидеть все результаты и принять меры против нежелательных последствий. Употребляемые в указанных школах вещества – это вовсе не «наркотики», как вы их называете, хотя многие из них приготавливаются из опия, гашиша и т. п. Кроме школ, где проводятся такие опыты, есть и другие, пользующиеся этими и им подобными веществами не для экспериментов, не для изучения, а для достижения определённых результатов хотя бы на короткое время. Благодаря умелому применению таких веществ, человека можно на некоторое время сделать очень умным или невероятно сильным. Впрочем, потом он умирает или теряет рассудок; но это во внимание не принимают. Существуют и такие школы.

Так что, как видите, о школах мы должны говорить весьма осторожно. Они могут делать практически одно и то же, а результаты окажутся совершенно разными.

Меня глубоко заинтересовало всё то, что говорил Гурджиев. Я ощутил в его словах какую-то новую точку зрения, не похожую на всё, с чем я встречался раньше.

Он пригласил меня с собой в один дом, где должны были собраться на беседу его ученики. Мы наняли экипаж и поехали в сторону Сокольников.

По пути Гурджиев рассказал мне, как война расстроила его планы: многие ученики ушли на фронт в первую же мобилизацию, очень дорогие аппараты и инструменты, заказанные за границей, оказались утерянными. Затем он заговорил о чрезмерных затратах, связанных с работой, о высокой цене за нанятое помещение, куда, как я сообразил, мы с ним ехали; далее он сказал, что его работой интересуются многие известные москвичи – «профессора» и «художники», как он выразился. Но когда я спросил, кто именно эти люди, он не назвал ни одной фамилии.

– Я спрашиваю об этом, – сказал я, – потому что родился в Москве; кроме того, я в течение десяти лет работал здесь в газетах, так что знаю в Москве почти всех.

Гурджиев и на это ничего не ответил.

Мы вошли в большую пустую квартиру, расположенную над школой городской управы; по-видимому, она принадлежала учителям этой школы. Это было где-то на месте бывших Красных Прудов.

В квартире находилось несколько учеников Гурджиева – три-четыре молодых человека и две девушки, обе похожие на учительниц. Я и раньше бывал в таких квартирах. Отсутствие мебели укрепило моё предположение, так как учительницам городской управы мебели не давали. При этой мысли мне стало как-то неловко смотреть на Гурджиева. Зачем он говорил об огромных затратах на квартиру? Во-первых, квартира была не его; во-вторых, за неё не взималась плата; в-третьих, она стоила не более пятидесяти рублей в месяц. Этот очевидный обман был настолько необычен, что я тут же заподозрил в нём какой-то особый смысл.

Мне трудно восстановить в памяти начало разговора с учениками Гурджиева. Кое-что из услышанного меня удивило. Я попытался выяснить, в чём заключается их работа, но прямых ответов мне не дали, настойчиво употребляя странную и непонятную мне терминологию.

Кто-то предложил прочесть начало повести, написанной, как мне сказали, одним из учеников Гурджиева; автора в то время в Москве не было.

Естественно, я согласился; и вот один из присутствующих начал читать рукопись вслух. Автор описывал свою встречу и знакомство с Гурджиевым. Моё внимание привлек тот факт, что повесть начиналась с момента, когда в руки автора попала та же записка о балете «Борьба магов», которую я видел зимой в «Голосе Москвы». Далее – и это мне очень понравилось, потому что я этого ждал, – автор при первой встрече с Гурджиевым почувствовал, что тот как бы положил его на ладонь, взвесил и поставил на место. Повесть называлась «Проблески истины»; писал её, очевидно, человек, не имевший никакого литературного опыта. Тем не менее она производила впечатление, так как в ней содержались указания на какую-то систему, в которой я угадал нечто для себя интересное, хотя не мог ни назвать, ни сформулировать её сущность; кроме того, некоторые очень необычные и неожиданные идеи об искусстве вызвали во мне очень сильный отклик.

Позднее я узнал, что автор повести – вымышленное лицо, а повесть начата двумя учениками Гурджиева, которые присутствовали на чтении; целью повести было пересказать идеи Гурджиева в литературной форме. Ещё позже я услышал, что мысль о повести принадлежала самому Гурджиеву.

Чтение первой главы на этом месте прервалось. Гурджиев всё время внимательно слушал; он сидел на диване, поджав под себя одну ногу, пил кофе из стакана, курил и иногда поглядывал на меня. Мне нравились его движения, в которых чувствовалась особого рода кошачья грация и уверенность; даже в его молчании было что-то, отличавшее его от других людей. Я подумал, что мне следовало бы встретиться с ним не в Москве, не в этой квартире, а в одном из тех мест, откуда я недавно вернулся: во дворе каирской мечети, в каком-нибудь разрушенном городе Цейлона или в одном, из храмов Южной Индии – в Танджуре, Тричинополи или Мадуре.

– Ну как вам понравилась повесть? – спросил Гурджиев после краткого молчания, когда чтение закончилось.

Я сказал, что слушал с интересом, но, с моей точки зрения, в ней есть недостатки – неясно, о чём именно идёт речь. Повесть рассказывает об очень глубоком переживании, о сильном впечатлении, которое произвела на автора какая-то доктрина, с которой он встретился; однако адекватного раскрытия самой доктрины не даётся. Присутствующие начали со мной спорить, указывая, что я пропустил важнейшую часть повести. Сам Гурджиев ничего не сказал.

Когда я спросил, какую систему они изучают, каковы её отличительные черты, я получил самые неопределённые ответы. Затем они принялись говорить о «работе над собой», но не смогли объяснить мне, в чём эта работа заключается. Мой разговор с учениками Гурджиева

протекал в целом не очень-то хорошо, я ощущал в них нечто рассчитанное и искусственное, как если бы они играли заранее выученные роли. Кроме того, ученики не шли в сравнение с учителем. Все они принадлежали к тому слою довольно бедной московской интеллигенции, которую я хорошо знал и от которой не ожидал ничего интересного. Я даже подумал, что странно встретить их на пути к чудесному. Вместе с тем все они выглядели вполне порядочными и приятными людьми, и истории, которые я слышал от М., явно исходили не от них и относились не к ним.

– Я хотел спросить вас об одной вещи, – сказал Гурджиев после паузы. – Нельзя ли напечатать эту статью в какой-нибудь газете? Таким образом, мы сможем познакомить публику с нашими идеями.

– Совершенно невозможно, – ответил я. – Это не статья, а только часть повести, без конца и начала, для газеты она слишком велика. Обычно мы считаем материал по строчкам. Чтение заняло два часа – значит, около трёх тысяч строк. Вам известно, что такое газетный фельетон: в фельетоне около трёхсот строк.

В московских газетах фельетоны с продолжением печатаются не чаще, чем раз в неделю, так что для повести потребуется десять недель, – а ведь это всего-навсего тема беседы одного вечера. Если её и можно напечатать, то разве что в ежемесячном журнале. Но сейчас я не представляю, какой журнал подойдёт для этой цели; в любом случае, у вас потребуют всю повесть, прежде чем что-то сказать.

Гурджиев промолчал; на этом разговор прекратился.

Но в самом Гурджиеве я сразу же ощутил нечто необычное, и в течение вечера это впечатление только укрепилось. Когда я уходил, в моём мозгу мелькнула мысль, что мне *необходимо сейчас же, безотлагательно* договориться о новой встрече, что если я этого не сделаю, я могу потерять с ним всякую связь. И я спросил, нельзя ли нам повидаться ещё раз до моего отъезда в Петербург. Он сказал, что завтра будет в этом же самом кафе, в это же самое время.

Я вышел с одним из молодых людей. Чувствовал я себя весьма странно – долгое чтение, в котором я мало что понял, люди, не отвечавшие на мои вопросы, сам Гурджиев с его необычными манерами и влиянием на учеников, ощущавшимся мною, – всё это вызывало во мне неожиданное желание смеяться, кричать, петь, словно я вырвался из школы или из какого-то заточения. Мне захотелось рассказать о своих впечатлениях этому молодому человеку, отпустив в адрес Гурджиева и довольно нудной и претенциозной истории несколько шуток, я вообразил, что обращаюсь к одному из своих друзей. К счастью, я вовремя удержался: «Он пойдёт и сейчас же расскажет им всё по телефону. Ведь они – его друзья».

Поэтому я постарался взять себя в руки; в полном молчании мы сели в трамвай и поехали к центру Москвы. После довольно долгого пути мы добрались до Охотного Ряда, где я жил, и, молча попрощавшись, расстались.

Назавтра я сидел в том самом кафе, где впервые встретил Гурджиева; это повторилось на следующий день, и через день, и каждый день. Всю неделю, которую я провёл в Москве, я виделся с Гурджиевым ежедневно. Очень скоро стало ясно, что он знал очень многое из того, что мне так хотелось узнать. В частности, он объяснил некоторые феномены, встретившиеся мне в Индии, которые никто не мог объяснить – ни на месте, ни впоследствии. В его объяснениях чувствовалась уверенность специалиста, очень тонкий анализ фактов и какая-то система, которую я не мог уловить, но присутствие которой ощущал, ибо все объяснения Гурджиева заставляли думать не только о фактах, о которых шёл разговор, но и о многих других вещах, которые я наблюдал или о которых догадывался.

С группой Гурджиева я больше не встречался. О себе Гурджиев рассказал лишь немного. Один или два раза он упомянул о своих путешествиях по Востоку; мне интересно было узнать, где он побывал, но выяснить это я не смог.

О своей работе в Москве Гурджиев сказал, что у него две не связанные друг с другом группы; они заняты разной работой «в соответствии со своей подготовкой и способностями», как выразился Гурджиев. Члены этих групп платили по тысяче рублей в год и работали с ним, продолжая заниматься своими обычными делами.

Я сказал, что, по моему мнению, тысяча рублей в год – чересчур большая плата для многих людей, не имеющих собственных средств.

Гурджиев возразил, что никакое другое решение этого вопроса невозможно, потому что в силу самой природы его работы он не в состоянии иметь много учеников. В то же время он не желает и *не должен* (он подчеркнул эти слова) тратить собственные деньги на организацию работы. Его работа не имела и не может иметь характер благотворительной деятельности, и ученики сами должны изыскивать средства для того, чтобы нанимать помещения для встреч, проводить эксперименты и так далее. Кроме того, добавил он, наблюдения показали, что люди, проявляющие слабость в жизни, оказываются слабыми и в работе.

– Есть несколько аспектов этой идеи, – сказал Гурджиев. – Работа каждого человека может включать расходы, путешествия и тому подобное. Если же его жизнь организована так плохо, что тысяча рублей в год оказывается для него затруднением, ему лучше за эту работу и не браться. Предположим, по ходу работы ему потребуется поехать в Каир или в какое-то другое место. У него должны быть для этого средства. Благодаря нашему требованию мы узнаём, способен он работать с нами или нет.

«Кроме того, – продолжал Гурджиев, – у меня слишком мало свободного времени, чтобы я мог жертвовать его другим, не будучи уверен, что это пойдёт им на пользу. Я очень высоко ценю своё время, потому что оно нужно мне и для моей собственной работы, потому что я не могу и, как сказал ранее, не должен тратить его непродуктивно. Есть во всём этом и другая сторона, – добавил он, – люди не ценят вещь, за которую не заплатили».

Я слушал его со странным чувством. С одной стороны, мне нравилось всё, что говорил Гурджиев. Меня привлекало в нём отсутствие малейшей сентиментальности, обычных разглазгований об «альтруизме», «работе на благо человечества» и тому подобное. С другой стороны, меня удивило видимое желание Гурджиева *убедить* меня в чём-то в вопросе о деньгах, *тогда как я не нуждался в том, чтобы меня убеждали*.

Если я с чем-то и не соглашался, так это с самим способом получать деньги: мне казалось, что Гурджиеву не собрать описанным путём достаточных средств. Было очевидно, что никто из тех людей, которых я видел, не сможет заплатить в год тысячу рублей. Если он действительно отыскал на Востоке явные и несомненные следы скрытого знания и продолжал исследования в этом направлении, тогда его работа требовала средств, подобно тому как их требует любое научное предприятие, вроде экспедиции в неизвестную часть света, раскопок древнего города или исследований, для которых необходимы тщательные и многочисленные физические и химические эксперименты. Убеждать меня в этом не было никакой необходимости. Наоборот, у меня в уме возникла мысль, что раз Гурджиев даёт мне возможность теснее познакомиться с его деятельностью, мне, вероятно, следует найти нужные средства, чтобы поставить эту работу на солидное основание, а также обеспечить его более подготовленными людьми. Но, конечно, у меня было самое неясное представление о том, в чём могла заключаться его работа.

Не говоря об этом прямо, Гурджиев дал мне понять, что он принял бы меня в ученики, если бы я выразил на это своё желание. Я ответил, что главное препятствие для меня – то обстоятельство, что в данный момент я не могу остаться в Москве, потому что заключил соглашение с петербургским издателем и готовлю к печати несколько книг. Гурджиев сказал, что иногда ездит в Петербург, и обещал скоро быть там и известить меня о своём приезде.

– Но если я вступлю в вашу группу, – сказал я Гурджиеву, – передо мной встанет очень серьёзная проблема. Я не знаю, требуете ли вы от своих учеников обещания хранить в тайне то, чему они учатся у вас, но я такого обещания дать не могу. В моей жизни было два случая, когда

я имел возможность вступить в группы, занятые работой, сходной с вашей, во всяком случае, по описанию, и эта работа в то время меня очень сильно интересовала. Но в обоих случаях вступить в них означало согласиться хранить в тайне всё, чему я мог бы там научиться, или пообещать такое молчание. И в обоих случаях я отказался, ибо прежде всего я – писатель и желаю оставаться свободным и сам решать, что я буду писать, а что не буду. Если я пообещаю хранить в тайне то, что мне будет сказано, после мне вряд ли удастся отделить то, что мне говорили, от того, что мне пришло на ум самому в связи со сказанным или без всякой связи с ним. Например, мне очень мало известно о ваших идеях, но я уверен, что когда мы начнём беседовать, то очень скоро подойдём к проблемам времени и пространства, высших измерений и тому подобному. Есть вопросы, над которыми я работаю уже в течение многих лет. Я нисколько не сомневаюсь, что они занимают большое место и в вашей системе. (Гурджиев кивнул.) Ну вот, видите, если бы мы разговаривали сейчас под клятвой сохранения тайны, то уже после первого разговора я бы не знал, что мне можно писать и чего нельзя.

– А что вы сами думаете об этом? – спросил Гурджиев. – Слишком многое говорить не следует. Есть вещи, которые сообщают только ученикам.

– Я могу принять такие условия лишь временно, – сказал я. – Смешно, конечно, если бы я немедленно начал писать обо всём, что узнаю от вас. Но если вы в принципе не желаете делать из своих идей тайну и заботитесь только о том, чтобы они не были переданы в искажённой форме, тогда я мог бы принять такое условие и подождать, пока я лучше пойму ваше учение. Однажды я встретил группу людей, занятых научными экспериментами в очень широком масштабе. Они не делали тайны из своей работы, но поставили условием, что никто из них не имеет права говорить о каком-либо эксперименте или описывать его, если сам он не в состоянии его выполнить. И пока человек не мог самостоятельно повторить эксперимент, ему приходилось хранить молчание.

– Лучшей формулировки не может и быть, – сказал Гурджиев, – и если вы будете придерживаться такого правила, между нами не возникнет никаких вопросов.

– Существуют ли какие-то условия для вступления в вашу группу? – спросил я. – Связан ли вступающий с нею и с вами? То есть я хочу знать, свободен ли он оставить вашу группу или он принимает на себя определённые обязательства? И как вы с ним поступаете, если он не выполняет своих обязательств?

– Условий подобного рода нет и не может быть, – отвечал Гурджиев. – Наш исходный пункт – это тот факт, что человек не знает себя, что он не существует (эти слова он произнёс с ударением), он не то, чем может и должен быть. По этой причине он не в состоянии вступать в какие-то соглашения или брать на себя какие-либо обязательства. Он не способен ничего решать о своём будущем. Сегодня – это одно лицо, а завтра – другое. Он ничем не связан с нами и, если ему захочется, может в любое время оставить работу и уйти. Не существует никаких наших особых обязательств по отношению к нему, ни его – к нам.

«Если ему понравится, он может учиться. Ему придется долго учиться и много работать над собой. Когда он узнает достаточно, тогда – иное дело. Тогда он сам увидит, нравится ли ему наша работа; если он пожелает, то может работать с нами, если нет, может уйти.

До этого момента он свободен. Если же он останется и после этого, то сможет решать или устраивать что-то на будущее».

«Возьмите, например, один пункт. Могут возникнуть такие обстоятельства (конечно, не в начале, а позже), когда человек должен хранить тайну, пусть даже в течение небольшого промежутка времени, – тайну о чём-то, что он узнал. Но может ли человек, не знающий себя, обещать, что он сохранит тайну? Конечно, обещать он может, но сумеет ли сдержать своё обещание? Потому что он не один; в нём скрывается несколько человек. *из* обещает сохранить тайну и верит в это. А завтра *другой из них* расскажет её своей жене или другу за бутылкой вина, или её, возможно, выведает какой-нибудь умный человек, причём таким образом, что

тот и сам не заметит, как всё выдаст. Наконец, его могут загипнотизировать, неожиданно на него накричать и напугать так, что он сделает всё, что хотите. Какого же сорта обязательства может он брать на себя? Нет, с таким человеком мы не будем разговаривать серьёзно. Для того, чтобы хранить тайну, человек *должен знать себя*, должен *быть*. А такой человек, как все, очень далёк от этого».

«Иногда мы создаём для людей временные условия *для проверки*. Обычно их очень скоро нарушают, но мы никогда не сообщаем серьёзных тайн человеку, которому не доверяем, так что подобные нарушения не имеют особого значения. Я хочу сказать, что для нас они не важны, хотя, несомненно, разрушают нашу связь с этим лицом, и этот человек теряет возможность что-нибудь от нас узнать – если он вообще в состоянии чему-то от нас научиться. Это может также повлиять на его личных друзей, хотя бы и неожиданно для них самих».

Я припоминаю, что во время одной из бесед с Гурджиевым на первой же неделе нашего знакомства я заговорил о своём намерении опять отправиться на Восток.

– Стоит ли об этом думать? И сумею ли я найти там то, что мне нужно? – спросил я Гурджиева.

– Хорошо поехать туда для отдыха, в отпуск, – отвечал Гурджиев, – но отправляться туда за тем, что вам нужно, не стоит. Всё это можно найти здесь.

Я понял, что он говорит о работе с ним.

– Но разве школы, которые находятся, так сказать, на месте, в окружении традиций, не дают определённых преимуществ? – спросил я.

Отвечая на этот вопрос, Гурджиев открыл мне некоторые вещи, которые я понял лишь впоследствии.

– Даже если бы вы нашли там школы, это оказались бы лишь «философские» школы. В Индии имеются только «философские» школы, – говорил он. – Всё разделилось очень давно следующим образом: в Индии оказалась «философия», в Египте – «теория», а в нынешних Персии, Месопотамии и Туркестане – «практика».

– И так остаётся по сей день? – спросил я.

– Частично даже и теперь, – отвечал он. – Но вы не вполне понимаете, что я называю «философией», что «теорией» и что «практикой». Эти слова нужно понимать не совсем так, как их обычно понимают.

«А если говорить о школах, то существуют только *специальные школы*, школ общего типа нет. Каждый учитель, или *гуру*, является специалистом в какой-то одной области. Один – астроном, другой – скульптор, третий – музыкант. И все ученики должны прежде всего изучить предмет, в котором специализируется их учитель, а затем, после этого, – другой предмет и так далее. Потребовалась бы тысяча лет, чтобы изучить всё».

– А как же учились вы?

– Я был не один. Среди нас были специалисты всех видов.

Каждый учился, следуя по линиям своего особого предмета. А затем, когда мы собирались вместе, мы соединяли всё, что нашли.

– И где же теперь ваши сотоварищи?

Гурджиев немного помолчал, а затем, глядя куда-то вдаль, медленно произнёс:

– Некоторые умерли, другие работают, а третьи удалились от мира.

Эти слова из монашеского лексикона, услышанные столь неожиданно, вызвали у меня странное и непривычное чувство.

В то же время я ощутил в Гурджиеве и некоторую «игру», как если бы он намеренно пытался по временам подбросить мне какое-то слово, чтобы заинтересовать меня и заставить думать в определённом направлении.

Когда я попытался подробнее расспросить, где он нашёл то, что знает, каков источник его знания и как далеко идёт это знание, он не дал мне прямого ответа.

– Знаете, – как-то заметил Гурджиев, – когда вы поехали в Индию, в газетах писали о вашей поездке и о ваших целях. Я дал своим ученикам задание прочесть ваши книги и решить по ним, *что вы представляете собой*, и установить на этом основании, что вы можете найти. Таким образом мы знали, что вы там найдёте, ещё тогда, когда вы туда ехали.

На этом наша беседа закончилась.

Однажды я спросил Гурджиева о балете, который упоминался в газетах и на который ссылалась повесть «Проблески истины». Будет ли этот балет иметь характер «драмы мистерий»?

– Мой балет – не мистерия, – сказал Гурджиев. – Задача, которую я поставил, состояла в том, чтобы создать интересный и красивый спектакль. Конечно, за внешней формой там скрыт известный смысл: но я не преследовал цели показать и подчеркнуть именно это. Объясню вам вкратце, в чём дело. Вообразите, что изучая движение небесных тел, скажем, планет Солнечной системы, вы построили особый механизм, чтобы передать зрительное изображение законов этих движений и напомнить нам о них. В таком механизме каждая планета, изображаемая сферой соответствующих размеров, помещается на определённом расстоянии от центральной сферы, изображающей Солнце. Механизм приводится в движение, все сферы начинают вращаться и двигаться по заданным путям, воспроизводя в зрительной форме законы, управляющие движением планет. Этот механизм напоминает вам обо всём, что вы знаете о Солнечной системе. Нечто подобное содержится и в ритме некоторых танцев. В строго определённых движениях и сочетаниях танцующих в видимой форме воспроизведены определённые законы, понятные тем, кто их знает. Такие пляски называются «священными плясками». Во время моих странствий по Востоку я много раз был свидетелем того, как эти пляски исполнялись во время священнослужений в древних храмах. Некоторые из них воспроизведены в «Борьбе магов». Кроме того, в основу балета положены три особые идеи. Но если я поставлю балет на обычной сцене, публика никогда их не поймёт.

Из того, что он затем говорил, я понял, что это будет не балет в строгом смысле слова, а целая серия драматических и мимических сцен, связанных в общем плане; их будут сопровождать пение, музыка и пляски. Наиболее подходящим названием для этих сцен было бы «ревью», но без какого бы то ни было комического элемента. Этот балет, или «ревью», назван «Борьба магов». Важные сцены изображают школы «белого мага» и «чёрного мага», упражнения учеников обеих школ и борьбу между ними. Действие происходит на фоне жизни восточного города, перемежаясь священными плясками, танцами дервишей и национальными плясками, распространёнными на Востоке; всё вместе переплетено с любовной историей, которая сама по себе имеет аллегорический смысл.

Я особенно заинтересовался, когда Гурджиев сказал, что *те же самые* исполнители должны будут играть и танцевать в сценах, изображающих как «белого», так и «чёрного» магов, и что они сами и их движения должны быть в первой сцене привлекательными и красивыми, а во второй – уродливыми и отталкивающими.

– Понимаете, таким образом они увидят и изучат все стороны самих себя; поэтому балет имеет огромное значение для самоизучения, – сказал Гурджиев.

В то время я понимал всё это весьма смутно, однако меня поразило некоторое несоответствие.

– В газетной заметке, которую я видел, сказано, что ваш балет будет поставлен в Москве, что в нём примут участие известные балетные танцовщицы. Как вы это соотносите с идеей самоизучения? – спросил я. – Ведь они не станут играть и танцевать, чтобы изучать себя.

– Всё это далеко ещё не решено, – возразил Гурджиев, – да и автор заметки, которую вы прочли, не был вполне информирован. Всё может выйти совсем по-другому. А с другой стороны, те, кто будет участвовать в балете, сами увидят, нравится он им или нет.

– А кто напишет музыку? – спросил я.

– Это тоже не решено, – ответил Гурджиев. Больше он ничего не сказал; и я вновь столкнулся с этим «балетом» только через пять лет.

Однажды в Москве я беседовал с Гурджиевым. Я рассказывал о Лондоне, где мне случилось остановиться на короткое время, об ужасающей механизации, которая в крупных городах всё возрастает; без неё, вероятно, было бы невозможно жить и работать в этих гигантских «заводных игрушках».

– Люди превращаются в машины, – говорил я. – Несомненно, иногда они становятся совершенными машинами. Но я подумую, что они способны мыслить: если бы они пытались мыслить, они не стали бы такими прекрасными механизмами.

– Да, – сказал Гурджиев, – это верно, но только отчасти. Прежде всего, вопрос заключается в том, какой ум люди используют во время работы. Если они используют тот ум, какой следует, они смогут думать ещё лучше, работая с машинами. Но при условии, что они будут думать тем самым умом.

Я не понял, что Гурджиев подразумевает под «тем самым умом». Понял я это гораздо позднее.

– И во-вторых – продолжал он, – механизация, о которой вы говорите, вовсе не опасна. Человек может быть *человеком* (он подчеркнул это слово), работая с машинами. Есть другой вид механизации, гораздо более опасный: самому сделаться машиной. Думали вы когда-нибудь о том, что все люди суть машины?

– Да, – ответил я, – со строго научной точки зрения все люди – это машины, управляемые внешними влияниями. Но весь вопрос в том, можно ли принять этот научный взгляд.

– Научный или ненаучный – для меня всё равно, – возразил Гурджиев. – Я хочу, чтобы вы поняли, что именно я говорю. Посмотрите, все эти люди, которых вы видите, – и он указал на улицу, – всё это просто машины и ничего более.

– Я думаю, что понимаю вашу мысль, – сказал я. – Я часто думал, как мало в мире такого, что могло бы противостоять этой форме механизации и избрать свой собственный путь.

– Вот тут-то вы и делаете величайшую ошибку, – промолвил Гурджиев. – Вы думаете, что существует нечто, способное противостоять механизации, нечто, выбирающее свой путь; вы думаете, что не всё одинаково механистично.

– Ну конечно, нет, – возразил я. – Искусство, поэзия, мысль – вот феномены совершенно другого порядка!

– В точности такого же! – был ответ Гурджиева. – Их деятельность так же механична, как и всё прочее. Люди – это машины, а от машин нельзя ожидать ничего, кроме механического действия.

– Очень хорошо, – сказал я, – но разве нет таких людей, которые не являются машинами?

– Может быть, и есть, – сказал Гурджиев. – Но только это не те люди, которых вы видите. И вы их не знаете. Мне хочется, чтобы вы поняли именно это.

Мне показалось довольно странным, что Гурджиев так настаивает на этом пункте. Его слова были ясными и неоспоримыми; вместе с тем мне никогда не нравились такие короткие и всеобъемлющие метафоры, которые упускают моменты *различия*. Я постоянно утверждал, что различия – самая важная вещь, и для того, чтобы что-то понять, необходимо прежде всего увидеть, в каких моментах явления отличаются друг от друга. Поэтому мне представилось несколько неправильным, что Гурджиев настаивает на этой идее, которая и так казалась очевидной, при условии что её не будут абсолютизировать и учтут исключения из неё.

– Люди так непохожи друг на друга, – сказал я. – Сомневаюсь, что можно поставить их всех в один ряд. Есть среди них дикари, есть люди интеллекта, есть гении.

– Совершенно верно, – сказал Гурджиев. – люди очень непохожи друг на друга; но длинную разницу между ними вы не знаете и не можете знать. Различия, о которых вы говорите, просто не существуют. Это нужно понять. Все люди, которых вы видите, все люди, которых вы

можете узнать впоследствии, – всё это машины, настоящие машины, которые работают, как вы сами выразились, под влиянием внешних воздействий. Они рождены машинами и умрут машинами. Каким образом дикари и мыслящие люди дошли до этого? Даже сейчас, в тот момент, когда мы беседуем, несколько миллионов машин пытаются уничтожить друг друга. Какая между ними разница? Где тут дикари и где мыслящие люди? Все одинаковы...

«Но есть возможность перестать быть машиной. Вот о чём мы должны думать, а не о том, какие существуют виды машин. Конечно, есть разные машины: автомобиль – это машина, граммофон – машина, и ружье – тоже машина. Но что из того? Всё это одно и то же – всё машины...»

В связи с этим разговором я припоминаю и другой.

– Каково ваше мнение о современной психологии? – спросил я как-то Гурджиева, собираясь затронуть вопрос о психоанализе, к которому с самого момента его появления я отнёсся с недоверием. Но Гурджиев не дал мне зайти так далеко.

– Прежде чем говорить о *психологии*, мы должны выяснить, к кому она прилагается, а к кому нет, – сказал он. – *Психология* относится к людям, к человеку. Какая психология (он подчеркнул это слово) может относиться к машинам? Для изучения машин необходима механика, а не психология. Вот почему мы начинаем с механики. До психологии еще далеко.

– Может ли человек перестать быть машиной? – задал я вопрос.

– А! В этом-то и дело, – ответил Гурджиев. – Если бы вы почаще задавали такие вопросы, мы, возможно, достигли бы в наших беседах какого-то результата. Можно перестать быть машиной, но для этого необходимо прежде всего *знать машину*. Машина, настоящая машина, не знает и не может знать себя. А машина, которая знает себя, уже не машина; по крайней мере, не та машина, какой она была раньше. Она начинает проявлять *ответственность* за свои действия.

– Это означает по-вашему, что человек не ответственен за свои действия? – спросил я.

– *Человек* (он подчеркнул это слово) ответственен. А *машина* – нет.

Во время одной из наших бесед я спросил Гурджиева:

– Как, по вашему мнению, лучше всего подготовиться к изучению вашего метода? Полезно ли, например, изучать так называемую «оккультную» и «мистическую» литературу?

Говоря это, я имел в виду прежде всего «Таро» и литературу о нём.

– Да, – сказал Гурджиев, – при помощи чтения можно найти многое. Возьмите, например, себя. Вы уже могли бы знать порядочно, если бы *умели читать*. Я хочу сказать, что если бы вы *поняли* всё, что прочли за свою жизнь; вы бы уже знали то, чего сейчас ищете. Если бы вы понимали всё, что написали в своей книге... как её? – и он сделал нечто совершенно невозможное из слов «Tertiurn Organum», – я пришёл бы к вам с поклоном и просил бы учить меня. Но вы *не понимаете* ни того, что читаете, ни того, что пишете. Вы даже не понимаете, что значит слово «понимать». Однако понимание существенно, и чтение способно принести пользу только тогда, когда вы понимаете то, что читаете. Впрочем, никакая книга не в состоянии дать подлинную подготовку. То, что человек знает *хорошо* (он сделал ударение на слове «хорошо»), и есть его подготовка. Если человек знает, как хорошо сварить кофе, как хорошо сшить сапоги, – ну что ж, тогда с ним уже можно разговаривать. Беда в том, что ни один человек ничего не знает хорошо. Всё, что он знает, он знает кое-как, поверхностно.

Это был один из тех неожиданных поворотов, которые Гурджиев придавал своим объяснениям. Слова Гурджиева, помимо обычного значения, содержали, несомненно, и какой-то иной смысл. Я уже начал понимать, что для подхода к этому скрытому смыслу нужно начинать с обычного значения слов. Слова Гурджиева были всегда значительны в своём обычном смысле, хотя этим их содержание не исчерпывалось. Более широкое и глубокое значение оставалось скрытым в течение долгого времени.

Вот ещё один разговор, оставшийся в моей памяти.

Я спросил Гурджиева, что нужно делать, чтобы усвоить его учение.

– Что *делать*? – спросил Гурджиев, как бы удивившись. – *Делать* что-то невозможно. Прежде всего человек должен кое-что *понять*. У него тысячи ложных идей и ложных понятий, главным образом, о самом себе. И он должен избавиться от некоторых из них, прежде чем начинать приобретать что-то новое. Иначе это новое будет построено на неправильном основании, и результат окажется ещё хуже прежнего.

– Как же нам избавиться от ложных идей? – спросил я. – Мы находимся в зависимости от форм нашего восприятия. Ложные идеи создаются формами нашего восприятия.

Гурджиев покачал головой.

– Опять вы говорите о чём-то другом, – сказал он. – Вы говорите об ошибках, возникающих из восприятия, а я говорю не о них. В пределах данных восприятия человек может более или менее ошибаться. Однако, как я сказал раньше, главное заблуждение человека – это его уверенность в том, что он может что-то *делать*. Все люди думают, что они могут что-то делать, все люди хотят что-то делать; и первый вопрос, который задают люди, – это вопрос о том, что им делать. Но в действительности никто ничего не делает, и никто ничего не может делать. Это первое, что нужно понять. *Всё случается*. Всё, что происходит с человеком, всё, что сделано им, всё, что исходит от него, – *всё это случается*. И случается точно так же, как выпадает дождь после изменений в верхних слоях атмосферы или в окружающих облаках, как тает снег, когда на него падают лучи солнца, как вздымается ветром пыль.

«Человек – это машина. Все его дела, поступки, слова, мысли, чувства, убеждения, мнения и привычки суть результаты внешних влияний, внешних впечатлений. Из себя самого человек не в состоянии произвести ни одной мысли, ни одного действия. Всё, что он говорит, делает, думает, чувствует, – всё это случается. Человек не может что-то открыть, что-то придумать. Всё это случается».

«Установить этот факт для себя, понять его, быть убеждённым в его истинности – значит избавиться от тысячи иллюзий о человеке, о том, что он якобы творчески, сознательно организует собственную жизнь и так далее. Ничего подобного нет. Всё случается: народные движения, войны и революции, смены правительств – всё это случается. И случается точно так же, как случается в жизни индивидов, когда человек рождается, живёт, умирает, строит дома, пишет книги – не так, как он хочет, а так, как случается. Всё случается. Человек не любит, не желает, не ненавидит – всё это случается».

«Но никто не поверит вам, если вы скажете ему, что он не может ничего делать. Это самая оскорбительная и самая неприятная вещь, какую только вы можете высказать людям. Она особенно неприятна и оскорбительна потому, что это истина, а истину никто не желает знать».

«Когда вы поймёте это, нам гораздо легче будет вести беседу. Но одно дело – понимать всё умом, а другое – ощущать «всей своей массой», быть по-настоящему убеждённым в том, что дело обстоит именно так, никогда об этом не забывать».

«С вопросом «*делания*» (Гурджиев подчеркнул это слово) связана ещё одна вещь. Людям всегда кажется, что другие неизбежно делают вещи неверно, не так, как их следует делать. Каждый думает, что он мог бы сделать всё лучше. Люди не понимают и не желают понять, что всё, что делается, и в особенности то, *что уже сделано*, не может и не могло быть сделано другим способом. Заметили вы или нет, что сейчас все говорят о войне? У каждого есть свой план, своя собственная теория; и всякий считает, что всё делается не так, как следует. В действительности же всё делается только так, как оно может быть сделано. Если *одна* вещь может быть иной, тогда и *всё* может быть иным. Но тогда, пожалуй, не было бы и войны».

«Постарайтесь понять то, что я говорю: всё зависит от всего остального, всё связано, нет ничего отдельного. Поэтому всё идёт только потому пути, по которому должно идти. Если бы

люди были иными, всё было бы иным. Но они таковы, каковы есть, и поэтому всё остаётся одними тем же».

Переварить всё это было очень трудно.

– Значит, нет ничего, что можно было бы сделать, абсолютно ничего? – спросил я.

– Абсолютно ничего.

– И *никто* не может ничего сделать?

– Это другой вопрос. Для того, чтобы *делать*, необходимо *быть*. А сначала необходимо понять, что это значит – *быть*. Если мы продолжим наши беседы, вы увидите, что мы пользуемся особым языком, и для того, чтобы разговаривать с нами, необходимо научиться этому языку. Не стоит разговаривать при помощи обычного языка, потому что, пользуясь этим языком, невозможно понять друг друга. Сейчас это кажется вам странным, но это так. Чтобы понять всё, нужно научиться другому языку. На том языке, на котором разговаривают люди, понять друг друга невозможно. Позднее вы узнаете почему.

«Затем человек должен научиться говорить правду. Это также кажется вам странным. Вы не понимаете, как можно учиться говорить правду. Вы думаете, что вполне достаточно решить поступать так. А я скажу вам, что люди сравнительно редко говорят обдуманную ложь. В большинстве случаев они считают, что говорят правду. И тем не менее они всё время лгут – и тогда, когда желают обмануть, и тогда, когда желают сказать правду. Они постоянно лгут и себе, и другим. Поэтому никто никогда не понимает ни себя, ни другого. Подумайте, разве могло бы возникнуть такое глубокое непонимание, такой разлад, такая ненависть к чужим мнениям и взглядам, если бы люди были в состоянии понимать друг друга? Но они не в силах понимать друг друга, ибо не могут не говорить лжи. Говорить правду – самая трудная вещь на свете: и для того, чтобы говорить правду, необходимо долго и много учиться. Одного желания здесь недостаточно. *Чтобы говорить правду, нужно знать, что такое правда и что такое ложь – прежде всего в самом себе. А знать это никто не желает*».

Беседы с Гурджиевым и те неожиданные повороты, которые он придавал любой идее, с каждым днём интересовали меня всё больше. Но пора было ехать в Петербург.

Помню последнюю беседу с ним. Я поблагодарил его за оказанное внимание и за объяснения, которые, как я уже видел, многое во мне изменили.

– Но всё-таки, как вы знаете, самая важная вещь – это факты, – сказал я, – и если бы я мог увидеть подлинные и реальные факты нового, неизвестного мне характера, только они в конце концов убедили бы меня, что я нахожусь на верном пути.

Я опять подумал о чудесах.

– *Факты будут*, – отвечал Гурджиев, – обещаю вам. Но сначала необходимо многое другое.

Тогда я не понял последних его слов, но понял их позже, когда столкнулся с действительными «фактами», ибо Гурджиев сдержал своё слово. Это произошло через полтора года, в августе 1916 года.

Из последних бесед в Москве в моей памяти сохранилась ещё одна, во время которой Гурджиев сказал несколько вещей, также ставших понятными лишь впоследствии.

Он говорил об одном человеке, которого я как-то встретил в его обществе. Гурджиев сказал о его взаимоотношениях с другими людьми:

– Это слабый человек. Люди пользуются им – разумеется, бессознательно. И всё потому, что он с ними. Если бы он с ними не *считался*, всё было бы другим, и сами они были бы другими.

Мне показалось странным, что человек не должен считаться с другими.

– Что вы понимаете под словом «считаться»? – спросил я. – Я и понимаю, и не понимаю вас. Это слово имеет так много разных значений.

– Как раз наоборот, – возразил Гурджиев. – Существует только одно значение. Попробуйте подумать об этом.

Потом я понял, что именно Гурджиев подразумевал под словом «считаться», и до меня дошло, какую огромную роль эта вещь играет в жизни, сколь многому она даёт начало. Говоря о ней, Гурджиев имел в виду то отношение, которое создаёт внутреннее рабство, внутреннюю зависимость. Потом мы имели возможность обсудить это достаточно подробно.

Вспоминаю и другой разговор – о войне. Мы сидели в кафе Филиппова на Тверской. Оно было полно народу, стоял сильный шум. Война и стремление к наживе создавали неприятную, лихорадочную атмосферу. Я даже отказывался идти туда, но Гурджиев настаивал, и я, как всегда в делах с ним, уступил. К тому времени мне уже было понятно, что иногда он намеренно создавал трудные условия для разговора, требуя от меня как бы чрезмерных усилий, готовности примириться с неприятностями и неудобным окружением, – *ради того, чтобы поговорить с ним.*

Но на этот раз результат получился не особенно блестящим, потому что из-за шума самая интересная часть сказанного им до меня не доходила. Сначала я понимал то, что говорил Гурджиев, но постепенно нить разговора стала от меня ускользать. После нескольких попыток следить за его замечаниями, из которых до меня долетали лишь отдельные слова, я перестал слушать и просто наблюдал, *как он говорит.*

Разговор начался с моего вопроса: «Можно ли прекратить войну?» Гурджиев ответил: «Да, *можно*», хотя из предыдущих бесед я вынес уверенность, что он ответит: «Нет, *нельзя*».

– Но весь вопрос в том, *как это сделать*, – продолжал он. – Чтобы понять это, необходимо многое знать. Ведь что *такое война*? Это – *результат влияний планет*. Где-то далеко две или три планеты подошли слишком близко одна к другой; и в результате возникло напряжение. Вы обращали внимание, как весь напрягается, когда какой-нибудь человек проходит близко от вас по узкому тротуару? То же самое происходит и с планетами. Для них это продолжается, возможно, одну-две секунды. А здесь, на Земле, люди начинают убивать друг друга и могут заниматься этим в течение нескольких лет. В это время им кажется, что они ненавидят друг друга или что они должны убивать друг друга ради какой-то возвышенной цели, кого-то или что-то защищать, что они ведут себя благородно или что-то в этом роде.

Они не в состоянии понять, до какой степени они – лишь пешки в игре. Они думают, что они что-то значат, могут двигаться туда и сюда по своему желанию, решать те или иные проблемы. Но в действительности все их движения, все действия – это результат влияния планет. И сами по себе они буквально ничего не значат. Большую роль во всём этом играет Луна, но о ней мы поговорим позднее. Нужно только понять, что ни император Вильгельм, ни генералы, ни министры, ни парламенты ничего не значат и ничего не могут сделать. Все, что происходит в большом масштабе, управляется извне – или случайными сочетаниями влияний, или всеобщим космическим законом.

Вот всё, что я услышал. Только гораздо позже я понял, что он хотел мне сказать: как можно отклонить случайные влияния или преобразовать их в нечто сравнительно безвредное. Это была очень интересная идея, относящаяся к эзотерическому значению понятия «жертвы», однако в настоящее время она имеет лишь историческую и психологическую ценность. Но действительно интересными оказались случайно брошенные слова – я даже не сразу обратил на них внимание и вспомнил гораздо позже – о разном времени для планет и для человека.

Даже когда я вспомнил эти слова, мне долго не удавалось постичь полное значение этой идеи. Позднее оказалось, что на ней основано очень многое.

В это же время меня сильно поразила беседа о *Солнце, Луне и планетах*. Не помню, как начался наш разговор, но мне помнится, что Гурджиев начертил небольшую диаграмму, стараясь объяснить то, что он назвал «корреляцией сил в разных мирах». Этот вопрос был связан с нашей предыдущей беседой о влияниях, действующих на человечество. В грубой форме идея

выражалась так: человечество, или, более правильно, *органическая жизнь на Земле*, испытывает воздействия, исходящие из разных источников и разных миров: влияние Луны, влияние планет, Солнца и звёзд. Все эти влияния действуют одновременно; в данный момент преобладает одно из них, в другой – другое, и для человека существует известная возможность сделать *выбор влияний*, иными словами, перейти из-под одного влияния под другое.

– Чтобы объяснить, как это случается, – сказал Гурджиев, – потребовалась бы очень долгая беседа. Поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас же я хочу, чтобы вы поняли одну вещь: невозможно стать свободным от одного влияния, не поддавшись другому. Всё дело, вся работа над собой состоит в том, чтобы выбрать влияние, которому вы желаете подвергнуться, и чтобы практически подпасть под это влияние. Для этого необходимо заранее знать, какое влияние выгоднее.

В этой беседе меня особо заинтересовало то, что Гурджиев говорил о планетах, о Луне, как о *живых существах*, имеющих определённый возраст, определённый период жизни, возможности развития и перехода на другие планы бытия. Из его слов следовало, что Луна – вовсе не «мёртвая планета», как принято считать, а наоборот, «новорождённая планета», находящаяся на начальных стадиях своего развития и ещё не достигшая, как он выразился, «степени разумности, какой обладает Земля».

– Но Луна растёт и развивается, – заявил Гурджиев, – и когда-то, вероятно, достигнет того же уровня, что и Земля. Тогда около неё появится новая Луна, а Земля станет их Солнцем. Одно время Солнце было подобно Земле, а Земля походила на Луну. А ещё раньше Солнце было похоже на Луну.

Эта идея сразу же привлекла мое внимание. Ничто не казалось мне более искусственным, ненадёжным и догматичным, чем общепринятые теории происхождения планет и звёздных систем, начиная с теории Канта-Лапласа и кончая самыми новыми гипотезами со всеми их добавлениями и вариантами. «Широкая публика» признаёт эти теории, по крайней мере, самую последнюю из известных ей, полагая их, научными и доказанными. На самом деле, нет, конечно, ничего менее научного и менее доказанного, чем все эти теории. То, что система Гурджиева принимает совершенно другую, *органическую* теорию, исходящую из новых принципов и показывающую иной вселенский порядок, показалось мне очень интересным и важным.

– В каком отношении к разуму Солнца находится разум Земли? – спросил я.

– Разум Солнца божествен, – отвечал Гурджиев, – но и Земля может стать такой же; только это, разумеется, не гарантировано, и Земля может умереть, ничего не достигнув.

– От чего это зависит? – спросил я.

Ответ Гурджиева оказался довольно неясным.

– Существует определённый период, – сказал он, – для того, чтобы сделать известную попытку, некоторую вещь. Если к какому-то времени то, что должно быть сделано, не будет сделано, Земля может погибнуть, не достигнув того, что она могла бы достичь.

– А известен ли этот период? – опять спросил я.

– Известен, – ответил Гурджиев, – но людям знать его бесполезно. Это было бы даже хуже. Одни поверили бы, другие нет, третьи потребовали бы доказательств. Затем принялись бы разбивать друг другу головы. Ведь у людей всё кончается этим.

В это же самое время в Москве у нас состоялось несколько интересных бесед об искусстве, связанных с повестью, которую читали на одном из первых вечеров, когда я познакомился с Гурджиевым.

«Вам пока неясно, – сказал как-то Гурджиев, – что люди, живущие на Земле, могут принадлежать к весьма различным уровням, хотя внешне они выглядят очень похожими друг на друга. Совершенно так же, как существуют разные уровни людей, есть и разные уровни в искусстве. Но сейчас вы не понимаете, что разница между этими уровнями гораздо больше, нежели

вы можете предположить. Вы ставите разные вещи на один уровень, близко друг к другу, и думаете, что эти разные уровни вам доступны».

«Я не называю искусством все то, что вы так называете; это всего-навсего механическое воспроизведение, подражание природе или другим людям, или фантазирование, оригинальничанье. Подлинное искусство – нечто совсем другое. Среди произведений искусства, особенно древнего, вы встречаетесь со многими вещами, которые невозможно объяснить, в которых содержится что-то такое, чего лишены современные произведения искусства.

Но поскольку вы не понимаете, в чём именно заключается разница, вы вскоре забываете о ней и продолжаете принимать всё искусство за один и тот же вид. Тем не менее между вашим искусством и тем, о котором я говорю, существует огромная разница. В вашем искусстве всё субъективно: и восприятие художником тех или иных ощущений, и формы, в которых он пытается выразить свои ощущения, и восприятие этих форм другими людьми. В одном и том же явлении один художник может ощутить одно, а другой художник – нечто совершенно противоположное. Один и тот же закат может вызвать в одном художнике радость, в другом – печаль. Два художника могут стремиться выразить одинаковые восприятия совершенно разными методами, в разных формах, или совершенно разные восприятия в одних и тех же формах – в соответствии с теми или иными традициями обучения или наперекор им. И зрители, слушатели или читатели воспримут не то, что хотел передать им художник, не то, что он чувствовал, а то, что в них вызывают ассоциации, связанные с формами, в которые он облекает свои ощущения. Всё субъективно, всё случайно; иными словами, всё основано на случайных ассоциациях – и впечатления художника, и его «творчество» (это слово Гурджиев произнёс с ударением), и восприятие зрителей, слушателей или читателей».

«В подлинном искусстве нет ничего случайного. Это математика. В нём всё можно вычислить, всё можно знать заранее.

Художник знает и *понимает*, что ему нужно передать, и его работа не может произвести на одного человека одно впечатление, а на другого – другое, при условии, конечно, что оба они – люди одного уровня. Она с математической точностью производит одно и то же впечатление.

Одно и то же произведение искусства вызовет, однако, разные впечатления у людей разных уровней, и люди низшего уровня никогда не получают от него того, что получают люди высших уровней. Это – истинное, *объективное искусство*. Вообразите какой-нибудь научный труд, книгу по астрономии или химии. Невозможно, чтобы один человек понимал ее так, а другой – иначе.

Каждый человек, достаточно подготовленный и способный прочесть её, поймёт, что имеет в виду автор, – и поймёт именно так, как это выражено автором. Объективное произведение искусства подобно такой книге – но оно действует и на эмоциональную сторону человека, а не только на интеллект».

– А существуют ли в наше время такие произведения объективного искусства? – спросил я.

– Конечно, существуют, – ответил Гурджиев. – Таким произведением искусства является большой египетский сфинкс, равно как и некоторые известные нам творения архитектуры, некоторые статуи богов и многое другое. Есть фигуры божеств и мифологических существ, которые можно читать как книги, но только не умом, а эмоциями – при условии, что они достаточно развиты. Во время наших путешествий по Центральной Азии, в пустыне у подножия Гиндукуша, мы нашли странную фигуру, которую приняли за какого-то древнего бога или демона. Сперва она произвела на нас просто курьёзное впечатление. Однако через несколько дней мы *почувствовали*, что фигура содержит в себе многое, какую-то большую, полную и сложную систему космологии. И медленно, шаг за шагом, начали расшифровывать эту систему. Она была скрыта во всём – в туловище фигуры, в её руках, ногах, в голове, глазах, ушах – во всём. В статуе не было ничего случайного, ничего бессмысленного. И постепенно мы поняли

цель тех людей, которые её воздвигли. Мы начали ощущать их мысли и чувства, некоторые из нас, казалось, видели их лица, слышали их голоса. Во всех явлениях мы схватывали смысл того, что они хотели передать через тысячелетия, и не только смысл, но и всё, что связывалось с чувствами и эмоциями. Это было подлинное искусство!

Меня очень заинтересовали слова Гурджиева об искусстве. Его *принцип* разделения искусства на субъективное и объективное говорил мне очень многое, хотя я не понимал ещё всего, что он вкладывал в эти слова. Я всегда ощущал в искусстве некоторые подразделения и градации, которые не мог ни определить, ни сформулировать и которые вообще никто не сформулировал. Тем не менее, я знал, что эти деления и градации существуют, и поэтому все разговоры об искусстве, не признававшие таких подразделений и градаций, казались мне пустыми и бесполезными, просто спорами о словах. В том, что сказал Гурджиев, в его указаниях на разные уровни, которых мы не различаем и не понимаем, я ощутил приближение к тем самым градациям, которые чувствовал, но не был в состоянии выразить.

В общем, меня удивило многое из того, что говорил Гурджиев. Были идеи, которых я не мог понять и которые казались мне фантастическими и необоснованными. Другие вещи, наоборот, странным образом совпадали с тем, что я сам уже давно понял. Более всего меня заинтересовала связанность всего того, что он говорил. Было очевидно, что его идеи не оторваны одна от другой, как это бывает со всеми научными и философскими идеями, а составляют единое целое, из которого я видел пока лишь отдельные части.

Я думал об этом в ночном поезде, когда ехал из Москвы в Петербург. Я спрашивал себя, действительно ли я нашёл то, что искал? Возможно ли, чтобы Гурджиев *знал* то, что нужно для перехода от слов и идей к делам, к «фактам»? Я не был ещё ни в чём уверен, ничего не мог с точностью сформулировать, но во мне появилась внутренняя убеждённость, что что-то для меня уже изменилось, что теперь всё пойдёт иначе.

Глава 2

Петербурге 1915 году. – Гурджиев в Петербурге. – Беседа о группах. – Упоминание об «эзотерической» работе. – «Тюрьма» и «побег из тюрьмы». – Что нужно для побега? – Кто и как может помочь? – Начало встреч в Петербурге. – Вопрос о перевоплощении и будущей жизни. – Как можно достичь бессмертия? – Борьба между «да» и «нет». – Кристаллизация на правильной и ложной основе. – Необходимость жертвы. – Беседы с Гурджиевым и наблюдения. – Продажа ковров и рассказы о коврах. – Что Гурджиев рассказал о себе. – Вопрос о древнем знании: почему оно скрыто? – Ответ Гурджиева. – Знание не скрыто. – Материальность знания и отказ человека от знания, которое ему даётся. – Вопрос о бессмертии. – «Четыре тела» человека. – Пример реторты, наполненной порошкообразными металлами. – Путь факира, путь монаха и путь йогина. – «Четвёртый путь». – Существуют ли культура и цивилизация?

В Петербурге лето прошло в обычной литературной работе. Я готовил свои книги для новых изданий, читал корректуры и т. п. Это было ужасное лето 1915 года, когда духовный климат стал постепенно ухудшаться, и я никак не мог освободиться от дурного самочувствия, несмотря на все свои усилия.

Теперь война шла на русской территории и приближалась к нам. Всё зашаталось. Скрытая самоубийственная деятельность, которая столь многое предредила в русской жизни, всё более и более выходила наружу. Всё время шла «проба сил». Постоянно бастовали печатники, и работа моя задерживалась; я уже начал думать, что катастрофа постигнет нас раньше, чем я сумею сделать задуманное. Но мои мысли часто возвращались к московским беседам. Помню, как несколько раз, когда дела становились особенно трудными, я говорил себе: «Брошу всё и уеду в Москву к Гурджиеву!» И при этой мысли всегда чувствовал облегчение.

Время шло. Однажды, уже осенью, меня позвали к телефону. Я услышал голос Гурджиева. Он приехал на несколько дней в Петербург. Я сейчас же отправился повидать его; и между разговорами с другими людьми, приходившими к нему по разным делам, он разговаривал со мной также, как, бывало, разговаривал в Москве.

На следующий день, перед отъездом, он сообщил, что скоро опять приедет. И во время его второго посещения, когда я рассказал ему об одной петербургской группе, куда я ходил и где обсуждались всевозможные вопросы от военных до психологических, он заметил, что знакомство с подобными группами может оказаться полезным, так как он думает начать в Петербурге работу того же рода, какую ведёт в Москве.

Он уехал в Москву, пообещав вернуться через две недели. Я рассказал о нём некоторым своим друзьям, и мы стали ждать его приезда.

Он снова вернулся на короткое время, однако мне удалось представить ему несколько человек. В отношении своих планов он сказал, что хочет организовать свою работу в более широком масштабе: читать публичные лекции, провести серию опытов и демонстраций и привлечь к работе людей с самой широкой и разнообразной подготовкой. Всё это отчасти напомнило мне то, что я слышал в Москве. Но я не представлял себе ясно, о каких «опытах» и «демонстрациях» он говорит; это выяснилось лишь позднее.

Припоминаю одну беседу; как и все беседы с Гурджиевым, она происходила в небольшом кафе на Невском.

Гурджиев сообщил мне некоторые подробности об организации групп для своей работы и об их роли. Один или два раза он употребил слово «эзотерический», которого я прежде от

него не слышал. Меня заинтересовало, что он имеет в виду, но, когда я попытался остановить его и спросить, что он понимает под словом «эзотерический», он уклонился от ответа.

– Это не важно... Ну называйте, как вам нравится, – сказал он. – Суть не в этом, а в том, что «группа» есть начало всего. Один человек ничего не может сделать, ничего не в состоянии достичь. Группа с подлинным руководителем может сделать многое. Она в состоянии совершить то, чего одному человеку не добиться.

– Вы не понимаете своего положения. Вы находитесь в тюрьме. Всё, чего вы можете желать, – если вы способны чувствовать, – это бежать, вырваться из неё. Но как можно бежать? Необходимо вырыть под стеной проход. Один человек ничего не может сделать. Но предположим, что таких людей десять или двадцать, – если они работают по очереди, и если один прикрывает другого, они смогут закончить проход и спастись.

Далее, никто не сумеет бежать из тюрьмы без помощи тех, *кто бежал раньше*. Только они могут рассказать, каким образом возможно устроить побег, только они могут передать инструменты – напильники или что-то другое, что может понадобиться. Но *один* заключённый не сможет найти этих людей, вступить с ними в соприкосновение. Необходима организация. Без организации нельзя ничего добиться».

Впоследствии Гурджиев часто возвращался к этому примеру «тюрьмы» и «побега из тюрьмы». Иногда он начинал с этого разговор, и тогда его излюбленным выражением было следующее: чтобы заключённый имел возможность бежать в любую минуту, он должен прежде всего *понять, что он находится в тюрьме*. До тех пор, пока он это не уяснит, пока считает себя свободным, у него нет никаких шансов. Никто не в состоянии помочь ему или освободить насильно, против его воли, наперекор желаниям. Если освобождение возможно, оно возможно только как результат огромного труда и усилий, прежде всего сознательных усилий, направленных к определённой цели.

Постепенно я приводил к Гурджиеву всё больше и больше людей. И всякий раз, когда он приезжал в Петербург, я организовывал беседы и лекции, в которых он принимал участие; такие беседы и лекции устраивались или в частных домах, или в уже существующих группах. Обычно приходило тридцать-сорок человек.

После января 1916 года Гурджиев стал посещать Петербург регулярно; он приезжал раз в две недели – иногда с кем-нибудь из учеников своей московской группы.

Я не всё понимал в том, как организуются такие встречи. Мне казалось, что Гурджиев создаёт попутно много ненужных затруднений. Например, он редко разрешал мне заранее назначать место встречи. Обыкновенно после окончания встречи делалось объявление, что завтра Гурджиев возвращается в Москву, но утром он говорил, что решил остаться до вечера. Весь день проходил в кафе, куда являлись люди, желающие увидеть Гурджиева. И только вечером, за час-полтора до того времени, когда мы обычно начинали наши встречи, он говорил мне:

– Почему бы нам не встретиться сегодня вечером? Позвоните тем, кто захочет прийти, и скажите, что мы соберёмся в таком-то месте.

Я бросался к телефону, но, конечно, в семь или в половине восьмого вечера все уже были заняты, и мне удавалось собрать лишь несколько человек. А жившим за Петербургом, например в Царском Селе, вообще никогда не удавалось попасть на наши встречи.

Впоследствии я многое воспринял по-иному, и главные мотивы Гурджиева стали мне более понятны. Он никогда не желал *облегчать* людям знакомство с его идеями. Наоборот, он считал, что только преодолевая затруднения, хотя бы случайные и не связанные с делом, люди смогут оценить эти идеи.

– Люди не ценят того, что им легко достаётся, – сказал он. – И если человек уже почувствовал нечто, поверьте мне, он будет сидеть у телефона и ждать весь день, чтобы его пригласили; или же он позвонит сам, будет спрашивать и узнавать. А тот, кто привык ждать, чтобы его попросили, да ещё предупредили заранее, чтобы он мог устроить все свои дела, пусть себе

продолжает ждать. Конечно, по отношению к тем, кто не живёт в Петербурге, это несправедливо. Но помочь им мы ничем не можем. Возможно, позднее у нас будут встречи в установленные дни. Сейчас делать этого нельзя. Люди должны показать себя и свою оценку того, что они слышат.

Всё это и многое другое в то время продолжало казаться мне сомнительным.

Но сами лекции и вообще всё, что говорил Гурджиев как на встречах, так и вне их, интересовало меня всё больше и больше.

На одной из встреч кто-то задал вопрос, возможны ли перевоплощения, можно ли верить случаям общения с умершими.

— Многое возможно, — сказал Гурджиев. — Но надобно понять, что человеческое бытие при жизни и после смерти, — если оно тогда действительно существует, — может быть весьма различным по своему качеству. «Человек-машина», у которого всё зависит от внешних влияний, с которым всё случается, кто сейчас представляет собой что-то одно, в следующее мгновение — другое, а ещё через секунду — третье, — этот человек не имеет никакого будущего. Его закапывают в землю, и это всё. *Прах возвращается в прах.* Эти слова относятся к нему. Чтобы говорить о каком-то виде будущей жизни, мы должны иметь некоторую кристаллизацию, некоторое сплавление внутренних качеств человека и известную независимость от внешних влияний. Если в человеке есть нечто, способное противостоять внешним влияниям, тогда это нечто окажется способно противостоять смерти физического тела. Но подумайте сами, что может сопротивляться физической смерти у человека, который, порезав себе палец, падает в обморок или забывает всё на свете. Если в человеке существует нечто, оно может пережить его; а если ничего нет, то нечему и переживать. Но даже если что-то и переживёт его, будущее может оказаться очень различным. В случаях более полной кристаллизации после смерти возможно то, что называют «перевоплощением»; в других случаях — то, что люди называют «потусторонним существованием». В обоих случаях — это продолжение жизни в «астральном теле» или при помощи «астрального тела». Вам известно, что значит выражение «астральное тело»; но знакомые вам системы, употребляющие это выражение, утверждают, что «астральным телом» обладают *все* люди. Это совершенно неверно. То, что можно назвать «астральным телом», приобретается благодаря сплавлению, т. е. посредством ужасно трудной внутренней работы и борьбы. Человек не рождается с «астральным телом», и лишь немногие его приобретают. Если оно сформировалось, оно может продолжать жить и после смерти физического тела, может родиться вновь в другом физическом теле. Это и есть «перевоплощение». Если же оно не родилось вторично, тогда спустя некоторое время оно тоже умирает; оно не бессмертно, но способно жить долго и после смерти физического тела.

«Сплавление, внутреннее единство приобретается благодаря «трению», благодаря борьбе между «да» и «нет», происходящей внутри человека. Если человек живёт без внутренней борьбы, если с ним всё случается без малейшего сопротивления, если он идёт туда, куда его ведут влечения, или туда, куда дует ветер, он останется таким, каков есть. Но если внутри него начинается борьба, особенно если в этой борьбе существует определённая линия, тогда в нём постепенно станут формироваться постоянные черты; он начнёт «кристаллизироваться». Однако кристаллизация возможна как на правильной, так и на неправильной основе. «Трение», борьба между «да» и «нет» легко могут иметь место и на ошибочном основании. Например, фанатическая вера в ту или иную идею или боязнь «греха» способны вызвать напряжённейшую борьбу между «да» и «нет», так что человек сможет кристаллизироваться и на этих основаниях. Но здесь произойдёт неправильная, неполная кристаллизация. Такой человек не будет способен к дальнейшему развитию. Чтобы сделать дальнейшее развитие возможным, ему придётся вновь расплавиться, а это достигается только путём сильнейших страданий».

«Кристаллизация возможна на любом основании: возьмите, например, разбойника, настоящего, истинного разбойника. Я знал на Кавказе таких разбойников. Он будет не шеве-

лясь стоять восемь часов за камнем у дороги с винтовкой в руках. Смогли бы вы сделать это? Обратите внимание – внутри его всё время идёт борьба: ему жарко, хочется пить, его кусают мухи; но он стоит неподвижно. Другой пример – монах. Он страшится дьявола – и в течение всей ночи бьёт лбом о пол и молится. Так достигается кристаллизация.

Подобными способами люди способны создать в себе огромную внутреннюю силу, перенести мучения, получить всё, чего желают. Это означает, что в них появилось нечто твёрдое, нечто постоянное. Такие люди могут стать бессмертными. Но что в этом хорошего? Человек такого типа становится «бессмертной вещью», хотя иногда в нём сохраняется некоторое количество сознания. Но даже и это, следует помнить, происходит очень редко».

Припоминаю, что в связи с беседами, следовавшими в этот вечер, меня поразили один факт. Многие люди слышали что-то совершенно иное, чем говорил Гурджиев; а другие обратили внимание лишь на второстепенные и несущественные замечания и запомнили их. От большинства слушателей ускользнули самые фундаментальные принципы того, что говорил Гурджиев. Он сказал мне, что лишь немногие задают вопросы по существу. Один из таких вопросов остался у меня в памяти:

– Каким образом человек способен вызвать внутри себя борьбу между «да» и «нет»? – спросил кто-то.

– Необходима жертва, – ответил Гурджиев. – Если вы ничем не жертвуете, вы ничего не приобретаете. И необходимо пожертвовать чем-то, в данный момент драгоценным, пожертвовать им надолго, пожертвовать многим. *Но всё-таки не навсегда.* Это следует понять, потому что нередко не понимают именно этого. Жертва необходима только тогда, когда идёт процесс кристаллизации. Если же кристаллизация достигнута, отречения, лишения и жертвы более не нужны. Тогда человек может иметь всё, что хочет. Для него нет больше никаких законов; он сам для себя закон.

Среди тех, кто приходил на наши лекции, постепенно составила небольшая группа людей, не пропускавших ни одной возможности послушать Гурджиева. Они встречались и в его отсутствие. Так начала возникать первая петербургская группа.

В течение этого времени я много бывал вместе с Гурджиевым и начал лучше понимать его. В нём поражала большая внутренняя простота и естественность, заставлявшие полностью забывать то, что для нас он был представителем чудесного и неведомого мира. В нём полностью отсутствовали любого рода аффектация или желание произвести впечатление. Вместе с тем угадывалось отсутствие личного интереса во всём, что он делал, совершенное бескорыстие, безразличие к удобствам и покою, способность не щадить себя в работе, какой бы она ни была. Порой ему нравилось бывать в весёлой и живой компании; он любил устраивать большие обеды, покупал много вина и закусок; однако нередко сам ничего из этого не пил и не ел. У людей складывалось впечатление о нём как о гурмане, о человеке, который любит хорошо пожить; и нам казалось, что часто он просто *хотел* произвести такое впечатление, хотя все мы уже видели, что он «играет».

«Игру» в поведении Гурджиева мы ощущали исключительно сильно. Между собой мы говорили, что никогда его не видим и никогда не увидим. В любом другом человеке такое обилие «игры» производило бы впечатление фальши; а в нём «игра» вызывала впечатление силы, хотя, как я уже упомянул, так бывало не всегда; подчас её оказывалось чересчур много.

Меня особенно привлекало его чувство юмора и полное отсутствие претензий на «святость» или на «обладание чудесными силами», хотя, как мы позже убедились, он обладал знаниями и умением создавать необычайные явления психологического характера. Но он всегда смеялся над людьми, которые ожидали от него чудес.

Это был невероятно многосторонний человек; он всё знал и всё мог делать. Как-то он сказал мне, что привёз из своих путешествий по Востоку много ковров, среди которых оказалось порядочное число дубликатов, а другие не представляли особой художественной ценно-

сти. Во время посещений Петербурга он выяснил, что цена на ковры здесь выше, чем в Москве; и вот всякий раз, приезжая в Петербург, он привозил с собой тюк ковров для продажи.

Согласно другой версии, он просто покупал ковры в Москве на «толкучке» и привозил их продавать в Петербург.

Я не совсем понимал, зачем он это делает, но чувствовал, что здесь существует связь с идеей «игры».

Продажа ковров сама по себе была замечательным зрелищем. Гурджиев помещал объявления в газетах, и люди всех родов приходили к нему покупать ковры. Они принимали его, разумеется, за обыкновенного кавказского торговца коврами. Часто я сидел часами, наблюдая, как он разговаривал с покупателями. Я видел, что нередко он играл на их слабых струнках.

Однажды он то ли торопился, то ли устал от игры в торговца коврами. Какая-то женщина, очевидно, богатая, но очень жадная, выбрала дюжину прекрасных ковров и отчаянно торговалась. И вот он предложил ей все ковры в комнате почти за четверть цены тех, которые она выбрала. Сначала она опешила, но потом опять начала торговаться. Тогда Гурджиев улыбнулся и сказал, что подумает и даст ответ завтра. А на следующий день его уже не было в Петербурге, и женщина вообще ничего не получила.

Нечто похожее происходило с ним почти каждый раз. С этими коврами, в роли путешествующего купца, он опять-таки производил впечатление переодетого человека, какого-то Гарун-аль-Рашида или персонажа в шапке-невидимке из волшебных сказок.

Однажды в мое отсутствие к Гурджиеву явился некий «оккультист» – шарлатан, игравший известную роль в спиритических кругах Петербурга; позже, при большевиках, он стал «профессором». Он начал разговор с того, что много слышал о Гурджиеве, о его знаниях и пришёл с ним познакомиться.

Гурджиев, как он сам мне рассказал, сыграл роль настоящего торговца коврами. С сильнейшим кавказским акцентом, на ломаном русском языке, он принялся уверять «оккультиста», что тот ошибся, что он только продаёт ковры, – и немедленно начал развёртывать их и предлагать посетителю.

«Оккультист» ушёл, убеждённый, что стал жертвой мистификации своих друзей.

– Было очевидно, что у мерзавца нет ни гроша, – прибавил Гурджиев, – иначе я выжал бы из него деньги хотя бы за пару ковров!

Обычно чинить ковры к нему приходил какой-то перс. Однажды я заметил, что Гурджиев очень внимательно наблюдает за тем, как работает этот перс.

– Хочу понять, как он это делает, и всё ещё не понимаю, – объяснил Гурджиев. – Видите вон тот крючок у него в руках? Всё дело в нём. Я хотел купить этот крючок, но он не продаёт его.

На другой день, придя раньше обычного, я увидел, что Гурджиев сидит на полу и чинит ковёр совсем так же, как это делал перс. Вокруг него были разбросаны мотки шерсти разных цветов, в руках он держал крючок такого же типа, какой я видел у перса. Выяснилось, что он вырезал его простым напильником из лезвия дешёвого перочинного ножа и в течение утра постиг все тайны починки ковров.

Он много рассказывал мне о коврах; нередко говорил, что ковры – одна из древнейших форм искусства. Он описывал древние обычаи, связанные с выделкой ковров в некоторых районах Азии – как целая деревня работает сообща над одним ковром; как зимой по вечерам все жители деревни, старые и молодые, собираются в одном большом помещении; как, разделившись на группы, они стоят или сидят на полу в особом порядке, издавна известном и определённом традицией. Затем каждая группа начинает свою работу. Одни вынимают из шерсти камешки и щепки, другие бьют шерсть палками; третья группа расчёсывает её; четвёртая прядет; пятая красит; а шестая – или, может быть, двадцать шестая – ткёт ковёр. Мужчины, женщины, дети, старики, старухи – все заняты своей традиционной работой, которая совершается

под аккомпанемент музыки и пения. Прядильщицы с веретёнами в руках, работая, пляшут особую пляску, и все движения людей, занятых разной работой, подобны одному движению, совершаемому в одном ритме. Кроме того, каждая местность имеет собственную музыку, свою мелодию, особые песни и пляски, которые с глубочайшей древности были связаны с выделкой ковров.

Когда он рассказывал мне об этом, у меня в уме мелькнула мысль, что, может быть, рисунок и окраска ковров в какой-то мере связаны с музыкой и являются её выражением в линиях и цветах; что, возможно, ковры суть не что иное, как записи этой музыки, ноты, при помощи которых можно воспроизводить мелодии. Для меня в этой идее не было ничего странного, поскольку я часто «видел» музыку в форме сложного рисунка.

Из некоторых случайных бесед с Гурджиевым я приобрёл кое-какие представления о его прежней жизни. Детство Гурджиева прошло в необычных, весьма далёких от нас, почти библейских условиях. Бесчисленные стада овец; скитания с места на место; соприкосновение с разными странными людьми. Его воображение особенно поразили йезиды, или «дьяволопоклонники»; с самых ранних лет его внимание привлекали их непонятные обычаи и удивительная зависимость от неизвестных законов. Среди прочего он рассказывал, что ещё ребёнком видел, как мальчики-йезиды не могут выйти из круга, очерченного вокруг них на земле.

Он провёл юные годы в атмосфере волшебных сказок, легенд и традиций. «Чудесное» вокруг было подлинным фактом. Предсказания будущего, которые он услышал и которым окружающие его люди поверили, – эти предсказания исполнились и заставили его поверить во многое другое.

Всё это, вместе взятое, уже в детстве породило в нём стремление к таинственному, непонятному, магическому. Он рассказал, что ещё совсем молодым совершил несколько далёких путешествий по Востоку. Я не мог в точности решить, что в его рассказах было правдой. Как он говорил, во время путешествий он снова столкнулся с явлениями, свидетельствовавшими о существовании некоторого знания, особых сил и возможностей, превосходящих возможности обыкновенного человека, встретился с людьми, наделёнными ясновиденьем и другими таинственными силами. Он сказал, что постепенно его отлучки из дома и путешествия стали преследовать определённую цель. Он отправился на поиски знания и людей, обладавших этим знанием. По его утверждению, преодолев большие трудности, он нашёл источники знания в содружестве с несколькими людьми, как и он, искавшими чудесное.

Во всех его рассказах о себе было много противоречивого и вряд ли заслуживающего доверия. Но я уже понял, что к нему нельзя предъявлять обычные требования или применять какие-либо стандарты. По отношению к нему не было уверенности ни в чём. Сегодня он мог сказать одно, а завтра – нечто совсем другое; и всё же каким-то образом его невозможно было обвинить в противоречиях: нужно было только всё понять и всё связать.

О школах, о том, где он нашёл знание, которым, без сомнения, обладал, он говорил очень мало и всегда как-то вскользь. Он упоминал тибетские монастыри, Читрал, гору Афон, школы суфиев в Персии, Бухаре и Восточном Туркестане, а также дервишей разных орденов; но обо всём этом говорилось очень неопределённо.

Во время одного разговора с Гурджиевым в нашей группе – которая стала уже превращаться в постоянную – я спросил:

– Если древнее знание сохранилось, если вообще существует знание, отличающееся от нашей науки и философии или даже превосходящее её, почему же тогда оно так тщательно скрыто, почему не сделано общим достоянием? Почему люди, обладающие этим знанием, не желают, чтобы оно перешло в общий поток жизни ради лучшей, более успешной борьбы против обмана, зла и невежества?

Вероятно, такой вопрос возникает у каждого человека, который впервые знакомится с идеями эзотеризма.

– На это есть два ответа, – сказал Гурджиев. – Во-первых, это знание не скрыто; во-вторых, по самой природе своей оно не может стать общим достоянием. Сперва мы рассмотрим второе из этих положений. А потом я докажу вам, что *знание* (он подчеркнул это слово) гораздо более доступно для тех, кто способен его усвоить, чем обычно полагают; вся беда в том, что люди или не желают знания, или не в состоянии его принять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.